Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://gorkiymaxim.ru/ Приятного чтения!

Рассказы о героях. Максим Горький

"Всякое дело человеком ставится,
человеком славится".

I

Чем дальше к морю, тем все шире, спокойней Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане, от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-черных полотнищах теней. Поперек и немного наискось реки легла, зыблется, сверкает широкая тропа, точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу.

Черный правый берег быстро уплывает вдаль, иногда на хребте его заметны редкие холмики домов, они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление: река течет в гору. Расстилая по воде парчовые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно, шумок за кормою мягко-ласков, и воздух тоже ласковый - гладит лицо, точно рука ребенка.

На корме сдержанно беседуют человек десять бессонных людей. Особенно четко слышен высокий, напористый голосок:

- А я скажу: человек со страха умира-ат...

В слове "умирает" он растянул звук "а" по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно:

- Смешно говорите, гражданин!

- В боях не бывал.

Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека. Усатый, окутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает:

- А старость?

Костромич молчит, ожидая конца возражении. JTO - самый заметный пассажир. Он сел в Нижнем и едет четвертые сутки.

Большинство пассажиров проводит на пароходе дни своих отпусков, это все советские служащие; они одеты чистенько, и среди них он обращает на себя внимание тем, что очень неказист, растрепан, как-то весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще - поломан. Ему, наверное, лет пятьдесят, даже больше. Среднего роста, сухотелый, с коричневой жилистом шеей, с рыжеватой полуседой бородкой на красном лице, из-под вздернутых бровей смотрят голубоватые глаза, смотрят эдаким испытующим взглядом и как будто упрекают. Трудно догадаться - чем он живет? Похож на мастерового, который был когда-то "хозяином". Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то; очень боек, но - не веселый.

Часа через два после того, как появился он на палубе теплохода, он обежал ее, бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров, и спросил матроса:

- С верхних-то сколько берут до Астрахани?

И через некоторое время его певучий голосок внятно выговаривал на нижней палубе:

- Конешно, - легкое наверх выплыва-ат, подыма-атся, тяжелое - у земли живет. Ну, теперь поставлено - правильно: за легкую жизнь - плати вчетверо.

Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказывать объяснять людям все, что он видел, видит, узнал и узнаёт. У него есть свои слова, видимо, они ему не дешево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтоб крепче

убедиться в правде своих слов. Прихрамывая, он подходит к беседующим, минутку-две слушает молча и вдруг звонко говорит нечто, не совсем обычное:

- Теперь, гражданин, так пошло: ты - для меня, я - для тебя, дело у нас - общее, мое к твоему пришито, твое к моему.

Мы с тобой - как две штанины. Ты мне - не барин, я те - не слуга. Так ли?

Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека и смотрит на него очень неблагосклонно. Пожилая женщина, в красной повязке на голове, говорит, вздыхая:

- Так-то так, да туго это понимают!

- Не понимают это - которые назад пятятся, вперед задницей живут, отвечает хромой, махнув рукою на темный берег, теплоход поворачивал кормою к нему.

- Верно, - соглашается женщина и предлагает: - Присаживайся к нам, товарищ!

Он остался на ногах, и через две-три минуты высокий голос его четко произнес:

- Всякое дело людьми ставится, людьми и славится.

Прозвучало это как поговорка, но поговорка, только что придуманная им и неожиданная для него.

Вот так он четвертые сутки и поджигает разговоры, неутомимо добиваясь чего-то. И теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что "человек умирает со страха", он говорит, предостерегающе подняв руку:

- Старики, конешно, от разрушения системы тела мрут, а некотора-а часть молодых - от своей резвости. Так ведь я - не про всех людей, я про господ говорил. Господа смерти боялись, как, примерно, малые ребята ночной темноты. Я господ довольно хорошо знаю: жили они - не весело, веселились скушно...

- Откуда бы тебе знать это? - иронически спрашивает усатый человек. На лакея ты не похож...

Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает:

- Позвольте, гражданин! При чем тут обидное слово - лакей?

- Есть пословица: для лакея - нет... людей.

- Пословицы ваши оставьте при себе.

Присоединяется еще один голос:

- Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали...

- Довольно, граждане!

Хромой терпеливо ждет, выбирая из коробки папиросу, потом говорит:

- Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь насорю, ну - толку между нами от этого не много будет. Это ведь неверно, что "пословица век не сломится"...

Красноармеец перебивает его:

- Насчет страха - тоже неверно. Это теперь буржуазия смерти боится, а раньше...

- И раньше, - настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу. - Я обстановку жизни изнутри знаю, в Питере полотером был...

- Ну, если так, - проворчал усатый и усмехнулся.

- Вот те и так! До тринадцати годов я, по сиротству, пастушонком был, а после крестный батька прибыл в село да и похитил меня, как бирюк барашка. Четыре года

я и выплясывал со щеточкой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьев настоящие барыни приезжали, ну и мужья тоже тайно от них. Я все четыре года во дворе такого бардачка прожил, в подвале, стало быть, мог кое-чего видеть...

Курил хромой торопливо, заглатывал дым глубоко, из-под его желтых растрепанных усов дым летел так, точно человек этот загорелся изнутри и вот сейчас начнет выдыхать уже не дым, а огонь.

- И в боях я во всяких бывал, - обратился он в сторону красноармейца. Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придется, да я тебе и не желаю. Под Ляояном был, бежал оттуда так, что сапоги наскрозь пропотели...

Кто-то засмеялся, толстая женщина спросила:

- Что же вы - гордитесь этим?

- Нет, зачем? - звонко отвечал рассказчик. - У меня для гордостей другое есть, - георгиевский кавалер, два креста получил, когда мотался на фронтах от Черновицы города до Риги даже. Там ранен два раза, в своей, за Советы, - два, для гордостей - хватит!

- За что кресты получили? - спросил усатый.

- Один - за разведку и пулемет захватил, другой - рота присудила, быстро, но как будто неохотно ответил хромой; плюнув в ладонь, он погасил окурок в слюне и, швырнув его за борт, помолчал.

Обнявшись, тихонько напевая, подошли две девицы. Одна сказала:

- Смотри - лодка, точно таракан...

- Огоньки на берегу, - задумчиво сказала другая, а красноармеец спросил что-то о пулемете.

- Да так это, случайно, - нехотя сказал хромой воин. - Послали нас, троих, в разведку, я - за старшего. Ночь, конешно, австрияки не так далеко, шевелились они чего-то... Это еще в самом начале войны было. Ползем. Впереди, за кустами, кашлянул человек, оказалось - пулеметное гнездышко, вроде секрет. Пятеро были там. Одного - взяли, он по-русски мог понимать, ветеринар оказался. Нашего одного тоже там оставили, потому что погоня началась, а он - раненый, а у нас - пулемет. Проступок этот сочли за храбрость, даже приказ по полку был читан.

- Ногу-то когда испортили? - спросил красноармеец.

- Это уж когда господина Деникина гнали, - очень оживленно заговорил хромой. - Ногу я упрямством спас, доктор решил отрезать ее. Я его уговариваю: оставь, заживет. Он, конешно, торопится, вокруг его сотни людей плачут, он сам плакать готов; я бы, на его месте, топором руки, ноги рубил, от жалости.

Ну, поверил он мне, нога-то - вот!

- Герой, значит, вы, - сказала одна из девиц.

- В гражданску войну за Советы мы все герои были...

Усатый человек напомнил:

- Ну, не все, бывало, и бегали, как под Ляояном, и в плен сдавались...

- Когда бегали - не видал, а в плен сам сдавался, - быстро ответил рассказчик. - Сдашься, а после переведешь десятка два-три на свой фронт. Переводили и больше.

- Вы - крестьянин? - спросила женщина.

- Все люди - из крестьян, как наука доказыва-ат...

Красноармеец спросил:

- В партии?

- На кой нужно ей эдаких-то? В партии ерши грамотные.

А меня недостача стеснила, грамоты не знал я почти до сорока лет. Читать, писать у безделья научился, когда раненый лежал.

Товарищи застыдили: "Как же это ты, Заусайлов? Учись скорее, голова!" Ну, выучили, маракую немножко. После жалели:

"Кабы ты, голова, до революции грамоту знал, может, полезным командиром служил бы". А почем я знал, что революция будет?

В ту революцию, после японской войны, я об одном думал: в деревню воротиться, в пастухи, а на место того попал в дисциплинарную роту, в Омск.

Красноармеец засмеялся, ему вторил еще кто-то, а усатый человек поучительно сказал:

- В грамоте ты, брат, действительно слабоват, говоришь - проступок, а надобно - поступок...

- Сойдет и так, - отмахнулся от него солдат, снова доставая папиросу, а красноармеец подвинулся ближе к нему и спросил:

- За что в дисциплинарную роту?

- Четверых - за то, что недосмотрели арестованного, меня - за то, что не стрелял; он выскочил из вагона, бежит по путям, а я у паровоза на часах, ну, вижу: идет человек очень поспешно, так ведь тогда все поспешно ходили, великая суматоха была на всех станциях. На суде подпоручик Измайлов доказывает: "Я ему кричал - стреляй!" Судья спрашивает:

"Кричал?" - "Так точно!" - "Почему же ты не стрелял?" - "Не видел - в кого надо". - "Ты что ж - не узнал арестанта?" - "Так точно, не узнал". "Как же ты, говорит, ехал в одном вагоне с ним три станции конвоиром, а не узнал? Ты, говорит, напрасно притворяешься дураком". Ну, потом требовал!

расстрелять. Однако никого не расстреляли...

Он засмеялся очень звонким, молодым смехом и сказал, качая головой:

- Суматошное время было!

- А ты, дядя, не плох, - похвалил красноармеец, хлопнув ладонью по его колену. - Чем теперь занимаешься?

- Пчелой. На опытной станции пчеловодством. Дело - любопытное, знаешь. Делу этому обучил меня в Тамбове старик один, сволочь был он, к слову сказать, ну, а в своем деле - Соломон-мудрец!

Заусайлов говорил все более оживленно и весело, как будто похвала красноармейца подбодрила его.

Толстая женщина ушла, усатый сосед ее сказал:

- Я сейчас приду.

Но тотчас встал и тоже ушел, а на его место, на связку каната, присела девушка, которой лодка показалась похожей на таракана.

- С пчелами он такое выделывал - в цирке не увидишь эдакого! продолжал Заусайлов и причмокнул. - Сам он был насекомая вредная и достиг своей законной точки - шлепнули его в двадцать первом за службу бандитам. Мне в этом деле пятый раз попало - голову проломили. Ну, это уж я не считаю, потому - время было мирное, не война. Да и сам виноват: любопытен, разведку люблю: я и в нашей армии ловким считался на это дело.

- В нашей - в Красной? - тихонько спросила девушка.

- Ну да. Другой армии у нас нету. Хотя и в той - тоже.

Там, конешно, по нужде, по приказу, а у нас по своей охоте.

Он замолчал, задумался. Вышла женщина с мальчиком лет семи-восьми; мальчик тощий, бледненький, видимо, больной.

- Не спит? - спросила девушка.

- Никак!

- Я к тебе хочу, - сердито заявил мальчуган, прижимаясь к девушке; она сказала:

- Садись и слушай, вот человек интересно рассказывает.

- Этот? - спросил мальчик, указав на красноармейца.

- Другой.

Мальчик посмотрел на Заусайлова и разочарованно протянул:

- Ну-у... Он старый.

Красноармеец привлек мальчугана к себе.

- Стар, да хорош, куда хошь пошлешь, - отозвался Заусайлов, а красноармеец, посадив мальчика на колени себе, спросил:

- Каи же ты, товарищ, к бандитам попал?

- А я их выяснил, потом - они меня. Суть дела такая: вижу я похаживают на пчельник какие-то однородные люди, волчьей повадки, все невеселые такие. Я и говорю товарищам в городе: подозрительно, ребята! Ну, они мне - задание: доказывай, что сочувствуешь! Доказать это - легче легкого: народ темный, озлобленный до глупости. Поумнее других коновал был, он и появлялся чаще. Он тоже из солдат, артиллерист, постарше меня лет на пятнадцать - двадцать. Практику с лошадьми ему запретили, ну, он и обиделся. К тому же - пьяница. В шайке этой он вроде штабного был, а кроме его, еще солдат ростовского полка, гренадер, замечательный гармонист.

Мальчуган прижался щекою к плечу красноармейца и задремал, а девушка, облокотясь о свои колени, сжав лицо ладонями, смотрела за борт, высоко подняв брови. Теплоход шел близко к правому берегу, мимо лобастого холма, под холмом рассеяно большое село: один порядок его домов заключен, как строчка в скобки, между двух церквей. С левого борта - мохнатая отмель, на ней - черный кустарник, и все это быстро двигается назад, точно спрятаться хочет.

- Банда - небольшая, человек полсотни, что ли. Командовал чиновник какой-то, лесничий, кажись, так себе, сукин сын.

Однако недоверчивый. Ну вот, они трое приказывают мне: узнай то, узнай это. Товарищи говорят мне: что я могу знать, чего - не могу. Действовали они рассеянно: десяток там, десяток - в ином месте, людей наших бьют, школу сожгли, вообще живут:

разбоем. Задание у меня, чтоб они собрались в кулачок, а наши накрыли бы их сразу всех, как птичек сетью. Сделана была для них заманочка... помнится - в Борисоглебском уезде на маслобойке, что ли. Поверили они мне, начали стягивать силы.

Черт его знает почему, старик догадался и вдруг явись, как злой дух, раньше, чем они успели собраться, однако - тридцать четыре сошлось. Начал он сеять смуту, дескать, надобно проверить, да погодить, да посмотреть. Вижу - развалит он все дело, говорю нашим: "Берите, сколько есть". Они за спиной у меня были в небольшом числе. Тут меня ручкой револьвера по голове. Вот и вся недолга

история!

- О господи! - вздохнула женщина. - Когда все это кончится?

- Когда прикончим, тогда и кончится, - задорно откликнулся рассказчик. Женщина махнула на него рукой и ушла.

- А ведь верно, вы в самом деле - герой, - весело и одобрительно сказал красноармеец. Мальчик встрепенулся, капризно спросил:

- Что ты кричишь?

- Извини, не буду, - отозвался красноармеец. - Строгий какой!.. Чужой вам? - спросил он девушку.

- Племянник, - ответила, она. - Иди-ко спать, Саша.

- Не хочу. Там - храпит какой-то.

Он снова прижался к плечу красноармейца, а Заусайлов вполголоса повторил:

- Саша...

И, вздохнув, покачиваясь, потирая колени ладонями, заговорил тише, медленнее.

- Ты, товарищ, говоришь - герой. Слово будто не подходяще нашему брату, - свое защища-ам, ну ведь и бандиты, кулаки - свое. Верно?

Мальчик снова встрепенулся и громко, как бы с гордостью, сказал:

- У меня отца кулаки убили. Я видел - как. Мы приехали из города, папа вылез ворота отворять, а они на него напали пьяные, два, а я уже проснулся, закричал. Они его палками.

- Вот оно как, - сказал Заусайлов.

- Н-да, - угрюмо откликнулся красноармеец, а девушка сказала:

- В третьем году, а он - помнит.

- Я - помню, - подтвердил мальчик, тряхнув головой.

- Расти он перестал после того, - продолжала девушка, вздыхая, двенадцатый год ему.

- Вырасту, - хмуро пообещал мальчуган.

Заусайлов пошлепал его по колену и посоветовал:

- Так и помни!

- Вот они, дела-то, - пробормотал красноармеец. - Учительница будете?

- Да. Мы обе, с его матерью.

- Сестра вам?

- Жена брата.

- Убитого?

- Да.

Все замолчали. Красноармеец, расстегнув шинель, прикрыл мальчика и прижал его к себе плотнее.

- Вот оно, геройство, - снова заговорил Заусайлов. - Оно у нас - везде, товарищ!

Щупая пальцами папиросы в коробке, он, негромко и не торопясь, заговорил:

- Я могу хвастануть - знал героя. У нас в отряде парень был, тоже Саша. Сашок звали его, туляк он, медная душа.

Веселый был и - куда хошь сунь, везде он на своем месте.

Личностью маленько на тебя схож был, тоже крепыш и зубастенький, как хорек. Ты - кавалерия?

- Да.

- То-то шинель длинна. И - аккуратен.

Закурив, он продолжал, снова оживляясь:

- Был он семинарист, Сашок, из недоучек, сказывал, что выгнали его за резвость. Однако - сильно образованный. Он меня и многих в безбожники обратил, мастак был насчет леригии, очень убедительный. Бога знал, как богатого соседа, и так доказывал, что бог - жить мешает, что не хочешь, а - веришь.

Н-ну, вот...

- Случилось так, что заскочил сгоряча наш отряд далеконько, за Курском это было, Деникина гнали. Вообще перепуталась обстановка, непонятно: где они, где - наши? Товарищи говорят: "Иу-ка, Заусайлов, сходи, сообрази, кто у нас с левого бока? И - сколько? Возьми себе, по вкусу, одного, двух парней". Это, конешно, так и надо по моей безграмотности. Взял я Сашка и Василия Климова, - осанистый был мужчина, вроде старшего дворника, - в Питере в царевы годы бывали такие дворники: он, сукин сын, дворник, а осанка - церковного старосты.

- Ну, пошли. Места - незнакомые. Держимся линии железной дороги, Сашок с Климовым по одну сторону насыпи, я - по другую, впереди шагов на сто. Дорога, конешно, раскарябана.

Вечер - лунный, ветерок гуля-ат, облаки бегут, тени ползут, там - тень, тут - тень, да сразу - бом! "Стой!" - кричат. Вижу - пятеро. Они хоть и белые, а в один цвет с землей и в кустах, около насыпи, неприметны. Комаыдирчик - молодой, еще и до усов не дорос, реворверчик в руке, шашечка на боку, винтовочка коротенька за плечом, - вооружен, как для портрета фотографии. Нацелился мне в глаз, допрашивает, покрикивает; я, конешно, вроде как испугался, тоже во весь голос кричу, чтоб Сашок с Климовым слышали, дескать - бегу от красных, боюсь - мобилизуют! Он как будто верить начал, а солдатик один и подскажи ему: "Ваше благородие, выправка у него подозрительная, наверно - солдат, ихний разведчик!" Ах ты, думаю, сучкин сын! Ну, побили меня немножко, отрядил он со мной двоих, повели меня куда надо. Идем тихонько, и дождичек пошел. Начал было я балагурить с конвоем, вижу: ничего не выходит, сердятся они, видно, устали. Решил молчать, а то, пожалуй, пришибут, черти.

- Долго ли, коротко ли - дошли в село, большое село и пострадавшее: горело в двух местах, некоторые избы артиллерией побиты. У церковной ограды, под деревами коновязь, семнадцать лошадей - все дрянцо. Поодаль, на дереве два уже висят.

"Ну, думаю, ежели не убегу, - тут и останусь". Темновато, огней в окнах почти нет, время - за полночь, спит белое воинство. Человек пяток на паперти прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив ее - хороший дом, два этажа, только крыша разбита. Там - шумят и огонь есть. Один конвойный пошел туда, другой сел на крылечко школы, я, конешно, стою на дождике, тут - не побежишь.

- Вышел другой конвойный, говорит: "До утра велено оставить". Это меня, значит. Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы, затолкали в избу, в ней уж совсем ни зги не видно, окна заколочены. Солдат спичку зажег - вижу я: пол разворочен, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь, в углу - тряпье, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел все, вышел в сени, дверь не закрыл. "Это - плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда - пустяки", - думаю. Сижу. Тихо, только лошади сопят, пофыркивают, дождик шуршит, людей не слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел, потом, слышу, - храпит.

- Счета времени я, конешно, не вел, часов помнить не могу, сижу, не смыкая глаз, и как страшный сон вижу. Душа скучает, и - : совестно: вот как влопался! Зажег осторожненько спичку, поглядел - бревна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно, а вот из избы-то едва ли вылезешь. Встал, попробовал - качаются.

- И тут меня точно кипятком ошпарило, слышу шепот:

"Заусайлов!" Это - Сашок, это - он! "Вылезай", - шепчет. Отвечаю: "Никак нельзя, в сенях - солдат". Замолчал он, потом, слышу, царапает, бревна поскрипывают. И только что, на счастье свое, отодвинулся к печке, заскрежетало, завалились бревна в избу. Ну, теперь - оба пропали.

- Солдат, конешно, проснулся, кричит: "Что ты там?" Отвечаю: "Не моя вина, угол обвалился!" Ну, ему, конешно, наплевать, был бы арестованный жив до казенного срока. Пожалел, что не задавило меня. Стало опять тихо, и слышу близко от меня - дыханье, пощупал рукой - голова. "Сашок, шепчу, как это ты, зачем?" Он объясняет: "Мы, говорит, все слышали, Климова я назад послал, а сам следом за тобой пошел. Главная, говорит, сила их не здесь, а верстах в четырех", - он уже все досконально разузнал. "Они, говорит, думают, что у них в тылу и справа - наши". Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. "Мне, говорит, бок оцарапало, сильно кровь идет, и ногу придавило". Пощупал я - действительно нога завалена. Стал шевелить бревно, а он шепчет: "Не тронь, закричу - пропадешь! Уходи, говорит, все ли помнишь, что я сказал? Уходи скорей!" - "Нет, думаю, как я его оставлю?" И опять шевелю бревно-то, а он мне шипит: "Брось, черт, дурак!

Закричу!" Что делать?! Я еще разок попробовал, может, освобожу ногу-то... Ну, хочешь - веришь, товарищ, хочешь - не веришь, - слышал я, хрустнула косточка, прямо, знаешь... хрустнула! Да... Раздавил я ее, значит... А он простонал тихонько и замер. Обмер. "Ну, думаю, теперь прости, прощай, Сашок!"

Заусайлов наклонил голову, щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть, искал, которая потуже набита. Не поднимая головы, он продолжал потише и не очень охотно:

- За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы приперли белых к оврагу, там и был конец делу. Мы с Климовым и еще десяточек наших первыми попали в это несчастное село. Ну, опять, пожар там. А Сашок - висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой, его сняли, бросили в лужу, в грязь. А Сашок - голый, только одна штанина подштанников на нем. Избит весь, лица - нет. Бок распорот. Руки - по швам, голова - вниз и набок. Вроде как виноватый. А виноватый - я...

- Это - не выходит, - пробормотал красноармеец. - Оба вы, товарищ, исполнили долг как надо.

Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил ее огонек до той секунды, когда он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцами красный уголь и сказал:

- Вот герой-то был.

- Да-а, - тихо отозвалась учительница и спросила:

- Уснул?

- Спит, - ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана, и, помолчав, веско заговорил:

- У нас герои не перевелись. Вот, скажем, погрохрана в Средней Азии парни ведут себя "на ять"! Был такой случай:

двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была темная.

Разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей, схватили они его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: "Стреляй на мой голос!" Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие разбежались, даже и винтовку отнятую бросили. А в это время - другого басмачи взяли; он кричит:

"Делай, как я!" Он еще и винтовку зарядить не успел, прикладом отбивается. Тогда - первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост - рассказывают, а им - не верят. Утром проверили по крови - факт! А ведь на голос стрелять значило по товарищу стрелять. Понятно?

- Как же не понятно! - сказал Заусайлов. - Ничего, помаленьку понимаем свою задачу. Из отпуска, товарищ?

- Из командировки.

Учительница встала.

- Спасибо вам. Надо разбудить Саньку.

- Зачем? Я его так снесу, - сказал красноармеец.

Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошел к борту, швырнул в реку папиросу.

Серебряный шар луны вкатился высоко в небо, тени правого берега стали короче, и весь он как будто еще быстрее уплывал в мутную даль...

II

Это рассказал мне один из тех людей, которые лет тридцать говорили русской действительности решительное "нет!", а после Октября осторожно начали говорить "да!", сопровождая каждое "да" более или менее скептическим "но".

Теплым летним вечером я сидел с этим человеком среди ельника, на песчаном обрыве; под обрывом - небольшой луг, ядовито зеленый после дождя, на зелень луга брошена и медленно течет мутновато-красная вода маленькой реки, за рекою - темные деревья, с правой стороны от нас, над сугробами облаков - багровое, вечернее солнце стелет косые лучи на реку, на луг, на золотой песок обрыва.

Человек курил, глядя на реку, и рассказывал, не торопясь, вдумчиво:

- Окончательно избавила меня от моих самоколебании встреча с одной женщиной. Было это года два тому назад, в одном из уездных городов верховья Камы. Я сидел в укоме, беседуя "по душам" с предом, секретарем и убеждаясь грустно, что хотя оба они - парни не плохие, но по уши завязли в хитросплетениях старого быта, и не они руководят жизнью, а их водят за нос местные темные силы. Они и сами немножко чувствовали это. Секретарь, молодой и даже как будто даровитый стихописате ль, утверждал уже, что:

Нередко мощные деревья Родятся от гнилых корней.

- Это - не его стихи, не помню - чьи, но у него были стишки именно такого смысла. А предукома - местный уроженец, сын заводского служащего, участник партизанского движения, человек битый, мученый; женат, трое детей, сильно устал, теоретически вооружен слабо, значение поступков своих понимает не ясно и, видимо, уже решил:

Будь, что будет, все равно!

Все наскучило давно.

- Городишко глухой, темный, об одном таком сказано:

В городе у нас - как на погосте:

Для всего готовая могила.

- Воскресенье, время - за полдень, на улице жарко, точно в бане, и сонная тишина; за крышами домов - гора, покрытая шубой леса, оттуда в открытые окна течет запах смолы и горький дымок, должно быть - уголь жгут.

Собеседник мой старался говорить живо и ради этого сильно злоупотреблял стиховыми цитатами. Цитаты свидетельствуют о начитанности, но, далеко не всегда утверждая докарываемое, часто создают такое впечатление, как будто цитирующий

платит за внимание к нему краденными пятаками.

- Беседуем, все более смущая друг друга и уже начиная немножко сердиться, - вдруг, с улицы, в открытое окно, поднимается от горячей земли большое, распаренное докрасна бабье лицо, на нем неласково и насмешливо блестят голубоватосерые, залитые потом глаза, и тяжелый, густой голос неодобрительно гудит: "Здорово живете! Чай да сахар..."

- "Опять черт принес", - проворчал пред, почесывая под мышкой, а женщина наполняла комнату гулом упреков: "Ну, что, товарищ Семенов, обманул ты меня? Думал: потолкую с ней по-умному, она и будет сыта? А я вот опять шестьдесят верст оттопала, на-ко! Принимай гостью..."

- Лицо ее исчезло из окна. Я спросил: кто это? Пред махнул рукою, сказав: "Шалая-баба!" А секретарь несколько смущенно объяснил: "Батрачка. Числится кандидаткой в партию".

- "Шалая баба" протиснулась в дверь с некоторым трудом.

Была она, скромно говоря, несколько громоздка для женщины, весом пудов на семь, если не больше, широкоплеча, широкобедра, ростом - вершков десяти сверху двух аршин. Поставив в угол толстую палку, она, движением могучего плеча, сбросила со спины котомку, бережно положила ее в угол, выпрямилась и, шумно вздохнув, подошла к нам, стирая пот с лица рукавом кофты.

- "Еще здравствуйте! Гражданин али товарищ?" - спросила она, садясь на стул, - он заскрипел под нею. Узнав, что товарищ, спросила еще: "Не из Москвы ли будешь?" И, когда я ответил утвердительно, она, не обращая более внимания на свое начальство, вытащив из огромной пазухи кусок кожи солдатского ранца величиной с рукавицу, хлопнула им по столу, однако, не выпуская из рук, и, наваливаясь на меня плечом, деловито, напористо заговорила:

- "Ну-ко, вот разбери дела-то наши! Вот, гляди: копия бумаги из губпарткома - верно? Это - ему приказано", - кивнула она головой на преда. "А это вот он писал туда. Значит - есть у меня право говорить?"

- Минут десять она непрерывно пользовалась этим правом, рассказывая о кооператорах, которые "нарочно не умеют торговать", о молочной артели, которой кулаки мешают реорганизоваться в колхоз, о таинственной и не расследованной поломке сепараторов, о мужьях, которые бьют жен, о противодействии жены председьсовета и поповны-учительницы организации яслей, о бегстве селькора-комсомольца, которого хотели убить, о целом ряде маленьких бытовых неурядиц и драм, которые возникают во всех глухих углах нашей страны на почве борьбы за новый быт, новый мир.

Рассказывая, собеседник мой постепенно увлекался, забыл о стихах и живо дорисовывал фигуру бабы, ее жесты, отметил ее бережное отношение к носовому платку: она раза два вынимала платок из кармана юбки, чтоб отереть пот с лица, но, спрятав платок, отирала пот рукавом кофты.

- Потом от нее несло, как от лошади, - сказал он.

Секретарь налил ей стакан чаю:

- Пей, Анфиса! - Но она, жадно хлебнув желтенького кипятку, забыла взять сахару, а взяв кусок, начала стучать им по столу, в такт своей возмущенной речи, а затем, сунув сахар в карман, взяла еще кусок и сконфузилась: "Ой, что это я делаю!" Но и другой кусок тоже машинально спрятала в карман, а остывший чай выпила залпом, точно квас. "Налей еще, товарищ Яков!"

Рассказчик посмеивался, фыркая дымом, а я слушал и думал: "Все это правильно, баба хорошо оживает, и я - знаю:

есть такая баба!"

Именно такую "делегатку" и батрачку наблюдал я на всесоюзном съезде по охране материнства в Москве, - такую же большую, краснолицую, толстогрудую, очень похожую на профессиональную, царских времен "кормилицу", в наши дни она - один

из маленьких источников новой энергии, питающей страну, бабища государственно мыслящая. Она явилась от Уральской области, и тоже густо, с хорошим пониманием важности вопроса, говорила о том, что план "пятилетки" отводит мало места и средств делу воспитания детей. Она, памятно, сказала: - "Теперича, когда у нас в области своя нефть будет, мы должны большую работу показать, и об детях заботиться - у нас еще меньше времени останется, да и какие мы заботники, какие учителя детям-то? Стало быть: общественное-то воспитание ребят надо расширять правда ли?"

Ей очень дружно хлопали.

Собеседник мой, торопливо покуривая, продолжал:

- Она высыпала на голову мне столько этих драм и неурядиц бытовых, что я даже перестал понимать "связь событий" в хаосе этом. Чувствую только, что эта семипудовая Анфиса - существо совершенно необыкновенное, новое для меня, что мне нужно узнать и понять - каким путем она "дошла до жизни такой"? Вы знаете, что литература наша не баловала нас изображением таких баб, хотя в жизни, в деревне, они, конечно, действовали, как неутомимые, самозабвенные строительницы "своего угла". Слушая эту, я подумал, что и она из числа таких строительниц частного хозяйства, но, по привычке к батрацкой работе, теперь механически переключила свою энергию на строительство общественное. Прочно ли это, надолго ли? Или - до первого случая, до выгодного замужества, вообще - до случая устроить свой угол? Уж очень много было в речах ее мелкой, бытовой практики и слишком незаметно отзвуков теории, а, как вы знаете, пороком нашего брата считается теоретический подход к быту, к делу. Но - как же иначе? Без плана ничего не построишь. Хотя, с другой стороны, изобретатели и творцы нового всегда как будто выскакивают из границ плана. Короче говоря - пригласил я ее к себе, я остановился у агронома, старого приятеля моего. Пригласил и за чаем подробнейше, до позднего вечера, пытал ее расспросами. Передать колорит ее рассказа я, разумеется, не могу, но кое-что в память врезалось мне почти буквально. Отец у нее был портной овчинник, ходил по деревням, полушубки и тулупы шил. Мать умерла, когда Анфисе исполнилось девять лет, отец дозволил ей кончить церковноприходскую школу, потом отдал в "няньки" зажиточному крестьянину, а года через три увез ее в село на Каму, где он женился на вдове с двумя детьми. В этих условиях Анфиса, конечно, снова стала "нянькой" детей мачехи, батрачкой ее, а мачеха оказалась "бабочкой пьяной, разгульной" да и отец не отставал от нее, любил и выпить и попраздновать. Частенько говаривал: "Торопиться - некуда, на всех мужиков тулупы не сошьешь. А будем торопиться - издохнем скорей!"

- Ей минуло шестнадцать лет, когда отец помер, заразясь сибирской язвой, и по смерти отца хозяйство мачехи еще тяжелей легло на ее хребет.

- "Был у нас шабер, старичок Никола Уланов, охотой промышлял, а раньше штейгером работал, его породой задавило в шахте, хромал он, и считали его не в полном уме; угрюмый такой, на слова - скуп, глядел на людей неласково. Жил он бобылем, ну, я ему иной раз постираю, пошью, так он стал со мной помягче! "Зря, говорит, девка, силу тратишь на пустое место, на пьяниц твоих. До чужой силы люди лакомы, избаловали их богатые. На все худое они людям пример, от них весь мир худому учится". Очень понравились мне эти его слова-мысли, вижу, что - верно сказал: село - богатое, а люди жесткие, жадные и все в склоке живут. Спрашиваю Николу-то: "А что мне делать?" - "Ищи, говорит, мужа себе, ты девица здоровая, работница хорошая, тебя в богатый дом возьмут". - Ну, я и в ту пору не совсем дура была: вижу, сам же туда гонит, откудова звал. А первые-то его слова скрыла в душе все-таки".

- Эту часть своей жизни она рассказывала не очень охотно, с небрежной усмешечкой в глазах и холодновато, точно не о себе говорила, а о старой подруге, неинтересной и даже неприятной ей. А затем как-то вдруг подобралась вся, постучала кулаком по колену, и глаза ее прищурились, как бы глядя глубоко вдаль.

- "И вот приехал к матери брат, матрос волжских пароходов, мужик лет сорока - лютый человек! Сестру живо прибрал к рукам, выселил ее с детьми в баню, избу заново перебрал, пристроил к ней лавку и начал торговать. И торгует, и покупает, и деньги в долг дает, трех коров завел, овец, а землю богатому кулаку Антонову в аренду сдал. Я у него и стряпка, и прачка, и коровница, и тки, и пряди, и во все стороны гляди - рвутся мои жилочки, трещат косточки! Ох, трудно мне было!

Видите, товарищ, какая кувалда, а - до обмороков доходила!"

- Она засмеялась густым таким грудным смехом, - странный, невежественный смех. Потом, вытерев лицо и рот платочком, вздохнула глубоко.

- "А еще труднее стало, когда он, невзначай, напал на меня да и обабил. Хотя и подралась я с ним, а - не сладила, не здорова была в ту пору, женским нездоровьем. Очень обидно было.

Я компанию вела с парнем одним, с Нестеровым, хорошей семьи, небогатые люди, тихие такие, двое братьев, Иван и Егор.

Жили не делясь. Егор, дядя парня, - вдовый, он потом партизаном был, и беляки повесили его. Парня-то убили в первый год империалистической войны, отца его кулаки разорили, тоже пропал куда-то. Из всей семьи только Лиза осталась, теперь она - подруга моя, партийной стала четвертый год. Она в шестнадцатом году, умница, в Пермь на завод ушла, хорошо обучалась там. Это уж я далеко вперед заскочила. Ну, хотела я, значит, уйти, когда идиёт этот изнасилил меня, и собралась, а он говорит: "Куда - пойдешь? Пачпорта у тебя - нет. И не дам, на это у меня силы хватит. Живи со мной, дуреха, не обижу.

Венчаться - не стану, у меня жена в Чистополе, хоть и с другим живет, а все-таки венчаться мне закон не позволяет. Умрет она - обвенчаюсь, вот бог свидетель!"

- "Противен был он, да пожалела я сдуру хозяйство: уж очень много силы моей забито было в него. Ну, и Нестеровых семья вроде как родные были мне. Пожалела, осталась. Не ласкова была я с ним, отвратен он был да и не здоров, что ли:

живем, живем, а детей - нету. Бабы посмеиваются надо мной, а над ним еще хуже, дразнят его, он, конешно, сердится и обиды свои на мне вымещает. Бил. Один раз захлестнул за шею вожжами да и поволок, чуть не удавил. А то - поленом по затылку ударил; ладно, что у меня волос много, а все-таки долго без памяти лежала. Сосок на левой груди почти скусил, гнилой черт, сосок-то и теперь на ниточке болтается. Ну, да что это вспоминать, поди-ка сам знаешь, товарищ, как в крестьянском-то быту говорят: "Не беда, что подохнет жена, была бы лошадь жива".

Началась разнесчастная эта война..."

- Сказав эти слова, она замолчала, помахивая платком в раскаленное лицо свое, подумала.

- "Разнесчастная - это я по привычке говорю, а думается мне как будто не так: конешно, трудовой народ пострадал, однако и пользы не мало от войны. Как угнали мужиков, оголили деревни - вижу я, бабы получше стали жить, дружнее. Сначала-то приуныли, а вскоре видят - сами себе хозяйки и общественности стало больше у них, волей-неволей, а надобно друг другу помогать. Богатеи наши лютуют, ой, как лютовали! Было их восьмеро, считая хозяина моего; конешно, попы с ними, у нас - две церкви, урядник, зять Антонова, первого в селе по богатству. И чего только они не делали с бабами, солдатками, как только не выжимали сок из ни-х! На пайках обсчитывают, пленников себе по хозяйствам разобрали. Даже скушно рассказывать все это. Пробовала я бабам, которые помоложе, говорить:

жалуйтесь! Ну, они мне не верили. Живу я средь горшков да плошек, подойников да корчаг, поглядываю на грабеж, на распутство и все чаще вспоминаю стариковы слова, Уланова-то:

"Богачи - всему худому пример". И - такая тоска! Ушла бы куда, да не вижу, куда идти-то. Тут Лизавета Нестерова приехала, ногу ей обожгло, на костыле она. Говорит мне: "Знаешь, что рабочие думают?" Рассказывает. Слушать - интересно, а не верится. Рабочих я мало видела, а слухи про них нехорошие ходили. Думаю я: что же рабочие? Вот кабы мужики! Много рассказывала мне Лиза про пятый-шестой год, ну, кое-что в разуме, должно быть, осталось. Уехала она, вылечилась. Опять я осталась, как пень в поле, слова не с кем сказать. Бабы меня не любят, бывало, на речке или у колодца прямо в глаза кричат:

"Собака ворова двора!" и всякое обидное. Молчу. Что скажешь?

Правду кричат. Горестно было. Нет-нет да и всплакнешь тихонько где-нибудь в

уголку.

- "Стукнул семнадцатый год, сшибли царя, летом повалил мужик с войны, прямо так, как были, идут, с винтовками, со всем снарядом, Пришел Никита Уотюгов, сын кузнеца нашего, а с ним еще бойкенький паренек Игнатий, не помню фамилии, да какой-то, вроде цыгана, Петром звали. Они на другой же день сбили сход и объявляют: "Мы - большевики! Долой, - кричат, - всех богатеев!" Выходило это у них не больно серьезно, богачи - посмеиваются, а кто победнее - не верят.

И моя бабья головушка не верит им. Однако - вижу: хозяин мой с приятелями шепчутся о чем-то, и все они - невеселы.

Собираются в лавке почти каждый вечер, и видна - нехорошо им! Ну, значит, кому-то хорошо, а кому - не видно. Вдруг - слышу: царя в Тобольск привезли. Спрашиваю хозяина в ласковый час: зачем это? "Сократили его, теперь - в Сибири царствовать будет. В Москве сядет дядя его, тоже Николай". Не верю и ему, а похоже, что Лиза правду говорила. А в лавке, слышу, рычат: "Оскалили псы голодные пасти на чужое добро". Как-то, вечером, пошла незаметно к Никите, спрашиваю: что делается?

Он - кричит: "Я вам, чертям дубовым, почти каждый день объясняю, как же вы не понимаете? Ты - кто? Батрачка? Вору служишь?" Мужик он был сухой такой, черный, лохматый, а зубы белые-белые, говорил звонко, криком кричал, как с глухими. Он не то, чтобы - злой, а эдакий яростный. Вышла я от него и - право слово: себя не узнаю, как будто новое платье одела и узко мне оно, пошевелиться боюсь. В голове - колеса вертятся. Начала я с того дня жить как-то ни в тех, ни в сех и будто дымом дышу. А хозяин со мной ласков стал.

- "Ты, говорит, верь только мне, а больше никому не верь.

Я тебя не обижу, потише станет - обвенчаемся, жена - - померла. Ты, говорит, ходи на Никитины сходки, прислушивайся, чего он затевает. Узнавай, откуда дезертиры у него, кто такие". - "Ладно - думаю! - Ловок ты, да не больно хитер". Незаметно в суматохе-то и Октябрь подошел. Организовался совет у нас, предом выбрали старика Антонова, секретарем Дюкова, он до войны сидельцем был в монополькe и мало заметный человек. На гитаре играл и причесывался хорошо, под попа, волосья носил длинные. В совете все - богатеи. Устюгов с Игнатом - бунтуют. Устюгов-то сам в совет метил, ну - не поддержали его, мало народу шло за ним, боялись смелости его. Петр этот, приятель его, тоже к богатым переметнулся, за них говорит. Прошло некоторое время - Игната убили, потом еще дезертир пропал. И вот мою полы я - а дверь в лавку не прикрыта была - и слышу, Антонов ворчит: "Два зуба вышибли, теперь третий надо". "Вот как?" - думаю, да ночью - к Никите. Он мне говорит: "Это я и без тебя знаю, а если ты надумала с нами идти, так - следи за ними, а ко мне не бегай; если что узнаешь, передавай Степаниде - бобылке. Я на время скроюсь".

- "И вот, дорогой ты мой товарищ, пошла я в дело. Притворилась, будто ничего не понимаю, стала с хозяином поласковей. Он в ту пору сильно выпивать начал, а ходил - гоголем, они все тогда с праздником были. Спрашиваю я моего-то:

что же это делается? Он, конечно, объясняет просто: "Грабеж, а грабителей бить надо, как волков". И похвастался: "Двоих ухайдакали и остальным то же будет". Я спрашиваю: "Разве Зуева, дезертира, тоже убили?" - "Может, говорит, утопили", - а сам оскалил зубы и грозит: "Вот еще стерву Степанидку худой конец ждет". Я - к ней, к Степахе, а она - ничего, посмеивается: "Спасибо, говорит, я уж сама вижу, что они меня любить перестали".

- "От нее забежала я к Нестеровым, говорю дяде Егору:

вот какие дела! Он советует мне: "Ты бы в эти дела не совалась". А я уж - не могу! Была там семья Мокеевых, старик да две дочери от разных жен, старшая - солдатка, а младшая - девица еще; люди бедные, старик богомольный такой, а солдатка - ткачиха знаменитая, в три краски ткала узором и сама пряжу красила; злая баба, а меня она меньше других травила.

У нее вечеринки бывали, вроде - бабий клуб, раза два она и меня звала. Вот и пошла я к ней, от тоски спрятаться. Застала там баб, все бедняцкие жены да вдовы... И - прорвало меня: "Бабы, говорю, а ведь большевики-то настоящей правды

хотят! Игната за правду и убили, да и дезертира Зуева. Неужто, говорю, война-то ничему не научила вас и не видите вы, кто от нее богаче стал?" И, знаешь, товарищ, не хвастаю, не сама за себя гвворю, а после от людей слыхала: удалось мне рассказать женщинам всю их жизнь так, что плакали. Это я и теперь всегда умею, потому что насквозь знаю все и говорю практически. А старик Мокеев на печи лежал, слушал да утром же все речи мои Антонову и передал. Вечером хозяин лавку запер, позвал меня в горницу, а там и Антонов, и зятек его, и еще двое ихних, Мокеев - тоже тут. Он меня и уличил во всем: прямо сказал: она, дескать, не только вас, и бога хаяла! Это он врал, я тогда о боге не думала, а как все: и в церковь ходила и дома молилась. Наврал, старый черт! Начали они меня судить, стращать, выспрашивать. А хозяин мой уговаривает их: "Она - дура, ей что ни скажи - всему верит, не трогайте ее, я сам поучу". Поучил. Пятеро суток на полу валялась, не только встать не могла, а рукой-ногой пошевелить силы не было. Думала, и не встану.

- "Однако - видишь - встала! Сутки через трое владыка и воспитатель мой уехал в волость, и вот слышу я ночью, стучат в окно, решила: пришли убить. А это Егор Нестеров: "Живо, говорит, собирайся!" Вышла я на улицу, сани парой запряжены, в санях - Степанида; спрашивает: "Жива ли?" А я и говорить не могу от радости, что есть люди, позаботились обо мне!"

- Громко шмыгнув носом, она часто заморгала, глаза у нее странно вспыхнули, я ждал - заплачет, но она засмеялась очень басовито и как-то по-детски.

- "Привезли они меня в город, стали допрашивать, да лечить, да кормить, - в жизни моей никогда не забуду, как лелеяли меня, просто как самую любимую. Народ все серьезный, тут и Устюгов, и Лиза, и еще рабочий один, Василий Петрович, смешной такой. Ну... всего не скажешь, а просто: к родным попала! Дядя Егор удивляется: "Я, говорит, не верил ей, почитал за шпионку от них". Жила я в городе месяца четыре, уж началась гражданская, за советы; пошел кулак войной на нас, и было это в наших местах вроде сказки: и - страшно, а - весело! Путаница большая была, так что и понять трудно: кто за кого? Никита учит меня: "Вертись осторожно, товарищ Анфиса, держи ухо востро!" Научил меня кое-чему, светлее в голове стало, я уж по всему уезду шмыгаю, где - на митингах бабам речи говорю, где - разведку веду. Тут уж мне трудно рассказывать, много было всего, пред глазами-то, как река течет. Поработала, слава те, господи!"

- Славословие богу сконфузило ее, покраснеть она не могла, и без того лицо ее было красно, как раскаленный кирпич, но она, всплеснув руками, засмеялась, виновато воскликнув:

- "Фу-ты, батюшкп! Вот и оговорилась! Привычка, товарищ! Слова эти скорлупа! А своих - не похвалишь, они сами себя делом хвалят. Ну ладно!.. Да, милый, поработала в охотку. Егор Нестеров собрал отрядец, десятка три, сходил в село для наказания, там, видишь, хозяйство ихнее разорили, Иванато укокали, должно быть, пропал, Степанидину избенку сожгли, Авдотью Макееву убили, а сестрицу ее, Таиюшу, изнасильничали, она и по сей день дурочкой ходит. Егор суд устроил на площади. Никита Устюгов речь говорил, народ одногласно осудил Антонова, хозяина моего, да еще двоих: Зотова, мельника, и попа. Застрелили их. Дюков - скрылся, урядника в перестрелке убили, а старику Мокееву -и бороду и волосья на голове обрили начисто и - ходи, гуляй! Всё было страшно, а как вывели Мокеева-то на улицу бритого - не поверишь: такой смешной он стал, что хохотали все до упаду, до слез, и весь страх пропал в смехе! Это Никита шутку выдумал, ох - умен был мужик! Посадили его предом сельсовета, Лизу секретарем, я тоже в дело вошла, все с бабами возилась. Тут они все уж верили мне: из богатого дома зря на бедную сторону не встанешь, говорят. "Эх, говорю, подруги! Да ведь вы сами знали, что я в богатом-то дому собакой служила!" - "А не служи!" - смеются. Ну, ладно! Примерно месяца через два пришлось всем нам бежать: белые пришли и - многовато их! Егор со своими в лес ушел, у него десятка два людей было, мог бы собрать больше, да винтовок не было. Меня и Степаниду оставили в селе: наблюдайте, да не показывайтесь! Степаха, отчаянная голова, там пряталась, а я приткнулась версты за три на пасеке. Живем. По ночам Степаха приходит, один раз винтовку скрала, принесла мне и говорит: "Знаешь, Дюков с белыми, любовничек мой, и я ему хочу дерзость устроить, сволочи! Он там взяточки собирает, стращая людей, и уже из-за его языка двое пострадали, заарестованы". "Пропадешь", - говорю. - "Авось - сойдет!"

- "Сошло ведь! Тоже смешной был случай. Сижу я как-то вечером на пасеке, шью

чего-то, поглядываю сквозь деревья на дорогу в село и вижу: будто Степанида идет, а с нею мужчина, в белом картузе, белой рубахе; идут не по дороге, а боком, кустами там тропинка была на целебный ключ. Не понравилась мне эта прогулка: хоть и считалась Степанида сознательной, да уж больна жадна была на всякое баловство. А она все ближе да ближе, тут уж я подумала: а не бежать ли мне в лес? Вдруг вижу; наклонился белый-то, а она - верхом на спину ему, ноги свои - под мышки сунула, голову в землю прижала, кричит:

"Анфис!" Баба она здоровая, ловкая, плясунья была! Бегу я к ней, а сама задыхаюсь от страха, барахтается белый-то, вотвот скинет ее с себя! Подбежала, успокоила его по затылку, Степанида револьвер вынула из кармана у него. "Веди, говорит, его к Егору, он там годится".

- "А это - Дюков и был. Ну, сволокли мы его на пасеку, очухался он там. Степанида говорит: "Стрелять - знаешь как?

Револьвера из рук не выпускай, так и веди! Я, говорит, тут останусь, а ты не приходи и скажи, чтобы мне кого-нибудь прислали - одно, двух, дело у меня есть".

- "Ладно, повела я Дюкова; до Егора далеко было, около двадцати верст, а верстах в пяти - хутор староверский, там тоже наши сидели. Идет Дюков впереди меня, плечи трясутся, плачет, уговаривает: "Отпусти!" Подарки сулит. Стыдно ему, конешно, что бабы в плен взяли, ну и боится тоже. "Иди, приказываю, и не пикни, а то - застрелю!" Хохотали наши над ним, да и надо мной, а он сидит на пенышке, трясется весь, лица на нем нет, маленький, щуплый, даже смотреть жалко было. Сутки через двое Степанида заманила на пасеку еща белого, привели его к нам те двое, которых послали к ней, и говорят: "Ну, эта рисковая баба - пропала, считайте!"

- "Так и вышло: пасеку - разорили, а от Степаниды - ни костей, ни волоса, так и неизвестно, что с ней сделали. А пленник ее оказался полезный, рассказал нам, что через трое суток белые город брать будут и что к ним большая сила подходит.

Не соврал. Двинулись мы в город. На Каме, на берегу, сраж-енъице было небольшое, как будто и ненужное, да уж очень разъярился дядя Егор. Семерых убили наших. Город белые взяли, конешно, их было, пожалуй, сотни полторы, а защитников - человек сорок. Постреляли друг в друга издали и ушли наши в лес. Так, дорогой товарищ, годика полтора, пожалуй, и вертелись мы вроде карасей в сети; куда ни сунься - белые, а бывало, что и красные белели, было и так, что белые перебегали к нам. Да. За горами идет большая гражданская. Колчака бьют, а мы - свою ведем и конца ей не видим. Как пожар лесной, в одном месте - погасим, в другом вспыхнет. Переметнулись даже в Осинский уезд, там бедноты много, все рогожники, да веревки вьют. Дядя Егор прихварывать начал, лошадь помяла его, да и ранен был в ногу. Под городом Осой захватили его белые; он, вчетвером, на конных наткнулся, двоих - убили, его подранили. Четвертый, гимназист пермский, прибежал в город, где Лиза со мной была. Лизавета послала меня поглядеть:

нельзя ли как выручить дядю? Белые на реке стояли, верстах в трех, у пристаней. Пришла я, а Егор висит на дереве, полуголый, весь в крови, с головы до, ног, точно с него кожа клочьями содрана, - страшный! И кисти на правой руке нет. Спрашиваю какого-то рогожника: за что казнили? "Болыпевичок, говорит, настоящий, они его тут мучили, а он их кроет! Довели его до беспамяти! пожалуй, даже мертвого вешали".

- "Ну, тут обалдела я немножко, жалко товарища-то!

У пристани народ был, я и говорю: "Как же вам, псы, не стыдно? Вас бы, говорю, вешать надо, бессердечный вы народ!" Недолго покричала, отвели меня к начальству. Какой-то седенький, лихорадочный, что ли, трясется весь, скомандовал: "Шомполами!" Десяточка два получила и с неделю - ни сесть, ни на спину лечь. Хорошо, что тело у меня такое: чем бьют больней, тем оно плотней. Вроде физкультуры. Да, товарищ, бою отведала я не меньше норовистой лошади, кожа у меня так мята - взодрана, что сама удивляюсь: как это всю кровь мою не выпустилп! А - ничего, живу - не охаю".

На этом месте рассказчик остановился, тщательно раскурил папиросу, с минуту молча смотрел под ноги себе и, вздохнув, продолжал:

- Не охаю, - говорит. Слушал я ее и невольно вспоминал пустое место моей жизни в эти трагические годы. Занял я его тем, что - охал. Потом спрашиваю: ну, а как дальше жила?

- "Да, что, говорит, дальше-то? Первое-то время после нашей победы не легче стало, а будто скушней. Близкие товарищи - кои перебиты, кои разбрелись по разным местам, по делам. Лиза - в Екатеринбург уехала, учиться, тогда еще Свердловска не было. Осталась я вроде как одна, народ у нас, в сельсовете, все новый, осторожный, многого не знают в нашей жизни, а что знают - это понаслышке. Про них один парень, из бойцов, чахоточный он помер года два тому назад, - частушку сочинил:

Сели власти на вышке,

Рассуждают понаслышке:

Мы-де здешний сельсовет,

Наплевать нам на весь свет.

- "Власть на местах была в ту пору. Потом новая экономическая началась. Пристроили меня к совхозу, да не удался он, разродилось повое кулачье, разграбило. Была зиму сторожихой в школе, - ну какая я сторожиха? Учителишка - старенький, задира, больной, ребят не любит. Стала поденно батрачить и вижу: все как будто назад попятилось, под гору, в болото.

Бабы - звереют, ничего знать не хотят, кроме своих углов. Беда моя слабо я разбираюсь в теории, стыдно это мне, а учиться времени нет. Да и человек-то я уж очень практический, не знаю, как писание к настоящей жизни применить, к нашему быту, ловкости у меня нету. Одно знаю: от этих своих углов - все наши раздоры- и разлады, и дикость наша, и бесполезность жизни. Знаю, что первое дело - быт надо перестроить и начинать это снизу, с баб, потому что быт - на бабьей силе держится, на ее крови-поте. А - как перестроишь, когда каждая баба в свое хозяйство впряжена, грамотных мало, учиться - некогда? Завоевали бабью жизнь горшки-плошки, детишки да бельишко... Начала я уговаривать баб прачешную общественную устроить, чтобы не каждая стирала, а две, три, по очереди, на всех. Не вышло ничего. Стыд помешал: бельишко-то у всех заношено да и плохое, когда сама себе стирает - ни дыр, ни грязи никто не видит, а в общественной прачешной каждая будет знать про всех. Они, конешно, не говорили этого, я сама догадалась, а они провалили меня на вопросе с мылом, дескать: как же мыло считать! У одной - десять штук белья, у другой - четыре, а мыло-то - как? Потом некоторые признались: "Мыло - пустяки, а вот стыда не оберешься! Будем побогаче - устроим и прачешную, и бани общие, и пекарню". Утешили: будем побогаче! Эх, бабы, говорю, от богатства нашего и погибаем. Ну, все-таки дела идут понемножку, безграмотность ликвидируем, "Крестьянку" совместно читаем; очень помогает нам "Крестьянская газета", вот она - да! Она - друг. Нам, товарищ дорогой, акушерский пункт надобно, ясли надо, нам амбар Антоновых надо под бабий клуб, амбар - хороший, бревенчатый, второй год пустой стоит".

- Она стала считать, что ей надо, загибая пальцы на руках, пальцев - не хватило, тогда, постукивая кулаком по столу, она начала считать снова: "Раз. Два". И, насчитав тринадцать необходимостей, рассердилась, даже раза два толкнула меня в бок, говоря: "Маловато вы, товарищи, обращаете внимания на баб, а ведь сказано вам: без женщины социализма не построить! Бебеля-то забыли! А - Ленин что сказал? Не освободив бабу от пустяков, государством управлять не научишь ее! А у нас и уком и райком сидят, как медведи в берлоге, и хоть бей - не шевелятся! Только и слов у них: не одни вы на свете! А дело-то ведь, товарищ, яснее ясного: ежели каждая баба около своего горшка щей будет вертеться - чего достигнем! То-то! Надобно освобождать нас от лошадиной работы.

Время нам надобно дать свободное. Я вот сюда третий раз притопала, сосчитай: вперед-назад сто двадцать верст, а за три раза 360 - шутка? Это значит - полмесяца на прогулку ушло...

Ну, ладно! Выговорилась я вся, допуста. Спать пойду. А ты мне укомцев-то настегай, не то - в губком пойду. Эх, скорей бы зачисляли меня в партию, уж так бы я их встряхивала!"

Рассказчик, помолчав, спросил: "Ну, как? Хороша?" - "Годится", - сказал я.

Тогда он, вздохнув, начал говорить о себе.

III

По берегам мелководной речки, над ее мутной ленивой водою, играет ветер, вертится над костром, как бы стремясь погасить его, а на самом деле раздувая все больше, ярче. В костре истлевают черные пни и коряги, добытые со дна реки; они лежали там, в жирной тине, много лет; дачники вытащили их на берег, солнце высушило, и вот огонь неохотно грызет.-их золотыми клыками. Голубой горький дымок стелется вниз по течению реки, шипят головни, шелково шелестит листва старых ветел, а в лад шуму ветра, работе огня - г сиповатый человеческий голос:

- Мы - стеснялись; стеснение было нам и снаружи, от законов, и было изнутри, из души. А они по своей воле законы ставят, для своего удобства...

Это говорит коренастый мужичок, в рубахе из домотканого холста и в жилете с медными пуговицами, в тяжелых сапогах, - они давно не мазаны дегтем и кажутся склепанными из кровельного железа. У него большая круглая голова, густо засеянная серой щетиной; красноватое толстое лицо тоже щетинисто; видно, что в недалеком прошлом он обладал густейшей окладистой бородою. Под его выпуклым лбом спрятаны голубоватые холодные глаза, и по тому, как он смотрит на огонь, на солнце, кажется, что он елец. Говорит он не торопясь, раздумчиво, взвешивая слова:

- Бога, дескать, нету. Нам, конечно, в трудовой нашей жизни, богом интересоваться некогда было. Есть, нет - это даже не касаемо нас, а все-таки как будто несуразно, когда на бога малыши кричат. Бог-от не вчерась выдуман, он - привычка древних лет. Праздники отменили, ну, так что? Люди водку и в будни пьют. А бывало, накануне праздника, в баню сходишь, попаришься.

- Так ведь это и в будни можно, в баню-то?

- Кто говорит - нельзя? Можно, да уж смак не тот.

В праздник-то сходишь в церкву, постоишь...

- Ходите и теперь ведь...

- Смак, говорю, не тот, гражданин! Теперь и поп служит робко, и певчих нет, и свечек мало перед образами. Все прибеднилось. А бывало, поп петухом ходил, красовался, девки, бабы нарядные - - благообразно было! Теперь девок да парней в церкву палкой не загонишь. Они вон в час обедни мячом играют, а то - в городки. И бабы, помоложе которые, развинтились. Баба к мужу боком становится, я, говорит, не лошадь...

Сиповатый голос его зазвучал горячее, он подбросил в костер несколько свежих щепок и провел пальцем по острию топора. Он устраивает сходни с берега в реку; незатейливая работа: надобно загнать в дно реки два кола и два кола на берегу, затем нужно связать их двумя досками, а к этим доскам пришить гвоздями еще четыре. Для одного человека тут всей работы - на два часа, но он не спешит и возится с нею второй день, хотя хорошо видно, что действовать топором он умеет очень ловко и не любит людей, которые зря тратят время.

На том берегу реки пасется совхозный скот - коровы и лошади. Из рощи вышел парень с недоуздком в руках, шагнул к рыжему коню, - конь отбежал от него и снова стал щипать траву. Словоохотливый старик, перестав затесывать кол, начал следить, как парень ловит коня, и, следя, иронически бормотал:

- Экой неуклюжий!.. Опять не поймал... Ну, ну... эх, болван какой! Хватай за гриву! Эй!

Парень тоже не торопился. Коня схватила за гриву молодая комсомолка, тогда парень взнуздал его и, навалясь брюхом на хребет, поскакал, взмахивая локтями почти до ушей своих.

- Вот как они работают - с полчаса время ловил конято, - сказал старик,

закуривая. - А кабы на хозяина работал, - поторопился бы, увалень!

И не спеша снова начал затесывать кол, пропуская слова сквозь густые подстриженные усы:

- Спорить я не согласен с вами насчет молодежи, она, конешно, действует... добровольно, скажем. Ну, однако, нам ее понять нельзя. Она, похоже, хочет все дела сразу изделать.

У нее, может, такой расчет, чтобы к пятидесяти годам все барами жили. Может, в таком расчете она и того... бесится.

- Ну да, конешно, это слово - от нашего необразования:

не бесится, а вообще, значит... действует! И - ученая, это видно. Экзамены держит на высокие должности, из мужиков метит куда повыше. Некоторые - достигают: тут недалеко сельсоветом вертит паренек, так я его подпаском знавал, потом, значит, он в Красной Армии служил, а теперь вот пожалуисте! Старики его слушать обязаны! Герой!

- Бывало, парень пошагает в солдатах три-четыре года, воротится в деревню и - все-таки свой человек! Ежели и покажет городскую, военную спесь, так - ненадолго, покуражится годок и - опять мужик в полном виде. А теперь из Красной-то через два года приходит парень фармазон - фармазоном и сразу начинает все обстоятельства опровергать. Настоящего солдата и не заметно в нем, кроме выправки, однако - воюет против всех граждан мужиков и нет для него никакого уему. У него - ни усов, ни бороды, а он ставит себя учителем...

- Плохо учит?

Старик швырнул окурок в воду, швырнул вслед за ним щепку, и, сморщив щетинистое лицо, ответил:

- Я вам, гражданин, прямо скажу: не в том досада, что - учит, а в том, что правильно учит, курвин сын!

- Непонятно это!

- Нет, понять можно! Досада в том, что обидно; я всю жизнь дело знал, а - оказывается - не так знал, дураком жил!

Вот оно что! Кабы он врал, я бы над ним смеялся, а так, как есть, - он прет на меня, мне же и увернуться некуда. Он в хозяйство-то вжиться не успел, по возрасту его. А - чего-то нанюхался... Кабы из него, как из меня, земля жилы-то вытянула, так он бы про колхозы не кричал, а кричал бы: не троньте!

Да-а! Он в колхоз толкает - почему? Потому, видишь ты, что он на тракториста выучился, ему выгодно на машине сидеть, колесико вертеть.

- Ведь понимаем: конешно, машина - облегчает. Так ведь она и обязывает: на малом поле она - ни к чему! Кабы она меньше была, чтоб каждому хозяину по машине, катайся по своей землице, а в настоящем виде она межу не признает. Она командует просто, сволочь: или общественная запашка, или уходи из деревни куда хошь. А куда пойдешь?

- Ну, да, конешно, я не спорю, - начальство свое дело знает, заботится - как лучше. Мы понимаем, не дураки. Мы только насчет того, что легковерие большое пошло. Комсомолы, красноармейцы, трактористы всякие - молодой народ, подумать про жизнь у них еще время не было. Ну и происходит смятение...

Поплевав на ладонь, крепко сжимая топорище красноватой, точно обожженной кистью руки, он затесывает кол так тщательно, как секут детей люди, верующие, что наказание воспитывает лучше всего. И, помолчав, загоняя кол ударами обуха в сырой, податливый песок, он говорит сквозь зубы:

- Вот, примерно, племянник мой... Двоюродный он, положим, а все-таки родня. Однако он мне вроде как - враг, да! Он, конешно, понимает: всякому зверю хочется сыто жить, человеку - того больше. На соседе пахать не позволено, лошадь нужна,

машина - это он понимает. Говорить научились, даже попов забивают словами; поп шлепает губой, пыхтит: бох-бох, а его уж не токмо не слыхать, даже и нет интереса слушать.

А они его прямо в лоб спрашивают: "Вы чему такому научили мужиков, какой мудрости?" Поп отвечает: "Наша мудрость не от мира сего", они свое: "А кормитесь вы от какого мира?"

Да... Спорить с ними, героями, и попу трудно...

Загнав кол до половины, он дает ему два пинка и, стоя на коленях, закуривает новую папироску и бормочет невнятно для себя, разбираясь в своих мыслях. Затем строго обращается к собеседнику:

- Вы, гражданин, прибыли издали, поживете да опять уедете, а нам тут до смерти жить. Я вот пятьдесят лет отжил в трудах и - достоин покоя али не достоин? А он меня берет за грудки, встряхивает, кричит, как бешеный али пьяный. Из-за чего, спрашиваете? Будто бы я на суде неправильно показал, там у нас кооператоров судили, за растраты, что ли, не понял я этого дела. Попытка на поджог лавки действительно была, этр всем известно. Суд искал причину: для чего поджигали? Одни говорят: чтобы кражу скрыть, другие: просто так, по пьяному делу. Племянник - Сергеем звать - да еще двое товарищей его и девка одна, они это дело и открыли. До его приезда все жили как будто благополучно, а вкатился он - и началась собачья склока. И то - не так, и это - не эдак, и живете вы, говорит, хуже азиатов, и вообще... И требуют, чтобы меня тоже судить:

будто бы я неправильно показал насчет кооператоров...

Говорит он все более невнятно и неохотно; кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей.

- Бегает круглы сутки. Ему все едино, что - день, что - ночь, бегает и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил, трубы чистить заставляет, чтоб сажи не было. Мальчишек научил кости собирать, бабам наговаривает разное, а баба, чай, сами знаете, - легковерная. В газету пишет, про учителя написал, Оттуда приехали - сняли учителя, а он у нас девятнадцать лет сидел и во всех делах - свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то веселенького-, так он сразу потребовал земли школе под огород, под сад, опыты, дескать, надобно произвести...

Чувствуется, что, говоря о племяннике, он в его лице говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и, незаметно для себя, создает тип беспокойного, враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице:

- Собрала баб, девок...

- Это вы - о ком?

- Да все о затеях его. Варвара-то Комарихина до его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит. Загоняет баб в колхозы, ну, а бабы, известно, перемену жизни? любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе - легче...

Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногтем ржавчину на лезвии топора. Коряги в центре костра сгорели, после них остался грязновато-серый пепел, а вокруг его все еще дышат дымом огрызки кривых корней: огонь доедает их нехотя.

- И мы, будучи парнями, буянили на свой пай, - задумчиво говорит старик. - Ну, у нас другой разгон был, другой! Мы не на все наскакивали. А их число небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они одолевают. Супротив их, племянников-то этих, - мир, ну, а оборониться миру - нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это - надобно признать.

Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и, шюва бросив на песок, сказал:

- Я - понимаю. Все это, значит, определено... Но увернешься. Кулаками дураки

машут. Вообще мы, старики, можем понять: ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают - стало быть, государство имеет нужду. Государство - человеку защита, зря обижать его не станет.

И, разведя руками, приподняв плечи, оп докончил с явным недоумением на щетинистом лице, в холодных глазах:

- А добровольно имущество сдать в колхоз - этого мы не можем понять! Добровольно никто ничего не делает, все люди живут по нужде, так спокон веков было. Добровольно-то и Христос на крест не шел - ему отцом было приказано.

Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно:

- Дали бы нам дожить, как мы привыкли!

Он идет прочь от костра, ветер гонит за ним серое облако пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет:

- Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали... Да... Живи как хошь, толстей как кот.

Чадят головни; синий кудрявый дымок летит над рекой...

ГОРЬКИЙ Максим (Алексей Максимович Пешков) (1868 - 1936).

Рассказы о героях. Впервые опубликованы в журнале "Наши достижения": первый рассказ - 1930, № 4; второй - 1930, № 7; третий - 1931, № 10 - 11. Печатается по изданию: Горький М. Поли. собр. соч. художественных произведений: В 25-ти т. Т. 20. М.: Наука, 1974.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://gorkiymaxim.ru/ Приятного чтения!
http://buckshee.petimer.ru/ Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
http://petimer.ru/ Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
http://worksites.ru/ Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
http://filosoff.org/ Философия, философы мира, философские течения. Биография
http://dostoevskiyfyodor.ru/
сайт http://petimer.com/ Приятного чтения!